Олег Хлебников
НА НЕБЕСНОМ ДНЕ

Серия «Поэтическая библиотека»

У Олега Хлебникова сложилась книга, которую он сам назвал романом в поэмах. Сложилась как жизнь. Как сказал двадцать с лишним лет назад Давид Самойлов — «в стихах Олега Хлебникова есть картина мира». Судьба лирического героя (вряд ли он многим отличается от автора) и судьбы окружавших его людей складываются на фоне отечественной истории. Да они сами и есть эта история. И тот совсем ближний круг, кого автор считает братьями — Юрий Щекочихин, Александр Аронов, «Толик, Андрюшка, Пашка»… И соседи по поэме «Улица Павленко» в Переделкине: Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава, Арсений Тарковский, Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко — «И слово друг / вместе с отцом и сыном / троицу составляло…».

Олег Хлебников
На небесном дне

Роман в поэмах
с комментариями

От автора

Этот «роман в поэмах» писало время. Почти тридцать шесть лет писало. Я пытался только уловить всхлипы и гул времени, которого, как известно, вроде бы и нет. И — по возможности — перевести всё услышанное и недослышанное на русский — по Блоку, преодолевая бездну своей оглушительной бездарности.

Что получилось, судить не мне. Но знаю, что точно удалось: вместить в строчки — хуже-лучше — полвека собственной, как-то осознанной жизни, происходившей не в пустоте, а в стране, которая приходила в себя после большевистского изнасилования и сталинского террора. До сих пор не пришла.

Плюс к тому какие-то протуберанцы совсем уж прошлого и будущего…

Существует документальная проза. Возможна ли документальная поэзия? Не знаю. Но «На небесном дне» — попытка именно в этом роде. Непроизвольная. Просто не умею писать о том, чего не было или не могло бы, по моему мнению, быть.

Очень не люблю (определение Мандельштама) «переводы готовых смыслов» и, только когда «несёт» неизвестно куда, начинаю чувствовать поэму.

Писать поэмы в наше время кажется безумием. Когда стихи-то не читают! Но именно поэтому интересно. Вопреки и благодаря.

Когда находишься внутри поэмы, испытываешь счастье. Это путешествие в другой мир, который, может быть, тебе всего лишь казался, но, воплощённый в слове, уже существует.

Строить миры — задача не только Творца, но и любого творящего что-то. Даже, наверно, любой твари. Началось с ветхого Адама, дававшего предметам и явлениям имена.

И вот — очень хочется сохранить имена. Тех, кто дорог. Я не умею и не хочу — на мраморе или граните. Более прочным материалом кажется мне слово.

А ещё есть робкая надежда, что те несколько жизней, которые уже прожил лично я и которые отразились в этих поэмах, захотят прожить, в них погрузившись, хотя бы несколько читателей.

Кстати (крючок для читателя), это самый простой способ продления собственной жизни! Продления на другие — воспринятые и прочувствованные.

Беда, увы, с восприятием стихов. Их у нас в последние много лет разучились читать — надо бы снабжать, как ноты, разными знаками: крещендо, диминуэндо… Надо бы предложить издателям с этими знаками стихи печатать…

Но нет более ёмкого способа передачи информации — эмоциональной, прежде всего, — чем стихи. В этом смысле книжка, которая перед Вами, только кажется тоненькой.

Прошу Вас, читатель, ударяя при чтении правильно, попытаться прожить вместе со мной лишние полвека. Спасибо.

А комментарии — это для тех, кто захочет узнать что-то не вместившееся в стихи про реальных героев поэм или про обстоятельства их (поэм) появления на свет.

ПЕРЕУЛОК

Пролог

Переулочек, переул…
Горло петелькой затянул.
А. Ахматова

1

Детдома и ларька соседство —
один из переулков детства,
где до сих пор покоя нет,
где время в склянках, время в банках,
в расспросах, слухах, перебранках —
меняется на горсть монет,

где моё детство побывало,
вставало в очередь, играло
ледышкой около ларька
и на детдомовские окна,
всегда затворенные плотно,
глядело из-под козырька,

где из пословиц миллиона
«Болтун — находка для шпиона» —
всего одну запомнил я,
где дядьки в кожаных ушанках
и тётки в сизых полушалках
искали крайних
и края

неведомые представляли,
края, простёршиеся дале, —
за телевышкой, за горой…
края, где я ни разу не был,
где явно закруглялось небо,
срастаясь с дымкой городской…

Такой обычный переулок,
где каждый шаг бывает гулок
и каждый шаг неповторим,
пространство, что в себя вместило
людские судьбы — судьбы мира,
и всё не расстаётся с ним…

2

В проулке за детдомом старым,

у пункта по приему тары
толпится, как всегда, народ —
что принимают, всё сдаёт.

Бездумно-мудрые старухи
иконно складывают руки.
Коричневые сумки их
полны бутылок дармовых.

У ног мешок со стеклотарой —
какой-то человек усталый
стоит, касаясь головой
клочка проблемы мировой.

А девочка с двухлетней дочкой —
со стеклотарой непорочной —
проблемы не касается:
дочь за подол цепляется.

У Марьивановны в авоськах,
как будто капельки на вёслах,
блестят стекляшки. Вся она,
как в мысли, в них погружена.

С ней рядом отставной полковник.
Чтоб миру о себе напомнить,
пришёл, принёс бутылок пять
как повод в очереди встать.

И вот — по очереди этой,
как кистью, временем задетой,
по очереди по живой,
текущей поперёк и вдоль,
передаются факты, мненья,
сомненья и опроверженья…

3

Стояние в очередях
не столь способствует мышленью,
скорее — семечек лущенью
и мутной мудрости в очах.

Стояние в очередях
ведёт к такому разговору,
который вспыхивает скоро
и увязает в мелочах.

И снова — лишь один зачах —

другой подобный возникает.
Такой порядок вызывает
стояние в очередях.

Рассказ — сочувственное «ах!»,
лихая шутка, злая ссора…
Моя пожизненная школа —
стояние в очередях.

Не различить издалека
очередей предназначенье…
Как терпеливо их теченье! —
как среднерусская река.

4

…И Марьивановна сказала:
— Уж больно ящиков-то мало, —
вздохнула, — могут не принять
посуду… —
замерла опять.

Забеспокоились старухи.
Одна шепнула:
— В одни руки
больше пятёрки не дают!
Остатки задарма берут!..

— Эх, мать! — прищурился полковник
светло, как довоенный школьник. —
Всё вам дадут. Без па-ни-ки!.. —
И засмеялись мужики.

И тут повеяло годами
иными. Из далёкой дали
какой-то силуэт возник,
иным очередям двойник —

в будённовке, косоворотке…
Нет, в гимнастёрке и пилотке.
Сначала встал за кипятком…
За кашей кирзовой — потом…

Вот — превратился в инвалида
в шинельке, офицерской с вида.
За ним в колонну встали вдруг
солдатки, дети, бабка, внук…

И как-то стало очевидно,

что лезть без очереди стыдно.

5

Но что же стало с переулком?
Раздвинулся? Совсем пропал?..
Наполнился гуденьем гулким
и — площадью базарной стал.

Из деревень пришли подводы.
К прилавкам встали кустари.
Толпа заполнила проходы.
И крики «Налетай! Бери!» —

как сизари, с земли взлетели!
Старьёвщик пел: «Берём старьё…»
И пайщик для своей артели
брезгливо выбирал сырьё.

Вот водовоз с дощатой бочкой!
А вот и Марьиванна с дочкой:
то ль продавала, то ль брала,
то ль на смотрины дочь вела.

— Хошь лясы, хошь ножи поточим! —
кричал точильщик тощий очень.
И удирал, не чуя ног,
малец, стащивший пирожок…

Детдом —
вновь делался трактиром.
И высилась над этим миром,
как поминальная свеча,
пожарная каланча —
которая потом сгорела
дотла.
Но разве в этом дело?

6

Другие времена мелькнули —
вдогонку просвистели пули.
Другие люди в свой черёд
пришли. Нет — в очередь скопились,
«Кто крайний?» — справились, столпились
и ждут, когда до них дойдёт…

А где же тот красноармеец,
в будённовке? Где тот лишенец

с извечным «Налетай! Бери!» —
страдавшие душой и телом
за правое, конечно, дело —
за угнетённых всей земли?

Где морячок с мечтой раздольной
о революции — не больно
какой, а сразу — мировой?..
С красноармейцем где-то вместе —
там, на ветрах, гремящих жестью,
застыли —
там, в эпохе той…

А где старьёвщик непременный?
Что ж не дождался перемены
в делах? Ему б сейчас старьё
давали даром! Не дождался.
В годах голодных затерялся.
Сменил занятие своё?

А многие из той окрошки
здесь. Инвалид — на «запорожце».
А вот артельщик — на «форде…
Связать всё это воедино! —
какая странная картина
коловращения идей

получится… Но это трудно.
И мудренее ночи утро.
А к переулку ночь идёт.
Ведь даже в маленьком пространстве,
вернувшись из далёких странствий,
свершает время свой полёт…

7

Над переулком вечер засинел.
Зажгла огни, растаяв, телевышка —
как будто городок расправил крыши,
включил сигнал и в небо полетел.

В детдомовских окошках свет возник
и проявил воспитанников лица,
высокий шкаф и стены — как страницы
зачитанных и пожелтевших книг.

И заблестели склянки у ларька,
не принятые из-за повреждений,

незаурядных форм и оформлений…
Вечерний ветер трогал их бока.

В конце проулка, в гибком фонаре,
похожем шеей на плезиозавра,
как свет дневной, уже рождалось завтра.
Магнитофон старался во дворе,
соседнем с переулком…

I. КУБИК РУБИКА

Хроника одного двора

Памяти Анатолия Берладина, друга, театрального режиссёра

ПРИСМОТРЕН БЫЛ СТАРУХАМИ СЛЕПЫМИ,
калеками после гульбы
и дурачком, переменившим имя
на радостное прозвище — Биби.
Обучен был Пожарником учёным
и местность изучать привык:
вот сам Пожарник, вот старуха в чёрном,
а вот Биби гудит, как грузовик...
Би-би-б*и*! Ду-ду!
Птицам-курам на беду!..
Калека пел ночами про «Варяга».
Пожарник спал. Наездившись, Биби
дремал в саду. Из поднебесья влага
лилась, лилась... И всё размыла бы —
когда б и так уже не размывало
иным потоком глину наших тел.
Биби — сначала. Как страна рыдала! —
би-би-би-би... — Я прибавляю мало —
одну тебя я выдумать сумел.

ОДНУ ТЕБЯ Я ВЫДУМАТЬ СУМЕЛ,
и ту не так. Так много было дел!
И счёта я не вёл своим потерям.
Между делами брата навещал,
и брат меня рассказом угощал,
но в достоверности я не уверен.
Брат говорил о Пушкине, что он
(при чём тут Пушкин?) был всю жизнь влюблён
в Карамзину (при чём тут Гончарова?),
сначала не ответила она,
поэт был юн, в том не её вина,
ответила — не виновата снова.
А перед смертью видеть захотел
он лишь её... Рассказ меня задел.
Какое-то в нём было совпаденье —
вот только с чем?.. И был он о любви...
При чём же тут, о господи, Биби?!
Теперь нас топчут без предупрежденья...
Потом заговорил о Кюхле брат,

об их дуэли с Пушкиным... Не рад
уж был я, что пришёл. Опять легенды!
Учебники не в силах тут помочь.
Пускай их изучают сын иль дочь...
Кабы родители — интеллигенты!

КАБЫ РОДИТЕЛИ-ИНТЕЛЛИГЕНТЫ

(они вечерний техникум кончали)
ночами не чертили чертежи,
они бы пресекали инциденты,
что во дворе нередко возникали
из состраданья, хвастовства и лжи.

Калека врал, что тоже был моложе,
с самим Поддубным на ковре встречался
и сам Поддубный побороть не смог;
а одному фашисту плюнул в рожу,
и тот со страху, значит... ну и сдался,
и, значит, в штаб фашиста приволок,

а там как раз сидел Будённый... В*о*т где
Пожарник прямо до небес взвивался
и уличал рассказчика во лжи.
Биби плевал под ноги и на «Волге»
солидно отъезжал, вновь возвращался...
А летописью были — чертежи.

Но тут калека возражал, что, ладно,
пускай не верят, а в Москве (видали!)
во все квартиры провели кино,
лежишь себе и смотришь!.. Тут досадно
уже старухам делалось — ведь знали:
уж им-то не покажут всё равно...

УЖ ИМ-ТО НЕ ПОКАЖУТ ВСЁ РАВНО,

как вечерами звезды высыпают
над тем двором, куда моё окно
глядит, пока весь двор не засыпает.

Окно моё! Я этот двор моим
не назову, хоть у меня другого
не будет. Все здесь заняты одним —
как бы случайно не узнать друг друга...

Пускай живут за тридевять земель,
и то, мне кажется, знаком я с каждым:
«С какой начинкой эта карамель?
Мы любим с ягодной!» — они мне скажут.

«А этот плащ намневеликоват?
Ацветклицу? Выпробоваливкусно?

Выходитектокрайний?..» — Невпопад
скажу я им: «С начинкой?.. Да. С капустной...»

СКАЖУ Я ВАМ, С НАЧИНКОЙ, ДА С КАПУСТНОЙ

и рыбной, признавались пироги
важнейшею стряпнёй. И в печке русской
румянились нехваткам вопреки.
И главной были в праздники закуской.

А в праздник собирались за столом
все вместе. Пели. Лез калека драться.
Его Пожарник связывал жгутом
и складывал на лавку оклематься,
и о награде намекал потом...

И складывал на лавку оклематься
его Пожарник... Связывал жгутом...
Все вместе пели...

Как пошли клочки
По закоулочкам
Раздавать тычки
Птичкам-курочкам.
И пошли плясать
Птички-курочки!
Эх, родная мать —
Безотцовщина!..

Старухи водку прятали в подолы,
но ставили на стол. Биби при сём
присутствовал, хоть был он невесёлый,
поскольку пить, когда ты за рулём,
нельзя!.. Родные русские глаголы
лились, лились, при детях, над столом.

И я там был, мёд-пиво пил, жевал
капусту. И за старшим братом следом
себя считал, наверное, поэтом
и тоже кровь-любовь зарифмовал.
Ну а всерьёз — в серьёзном мире этом —
милиционером сделаться желал.

МИЛИЦИОНЕРОМ СДЕЛАТЬСЯ ЖЕЛАЛ

Пожарник. Чтоб блюсти устройство.
(«А кто ответит? Пушкин?» — рассуждал.)
И чтобы зря не ждать пожар
для проявления геройства.

И во дворе у каждой из старух
допытывался о происхожденье
и записную книжицу из рук

не выпускал тогда ни на мгновенье.
А про Биби подозревал всегда,
что никакой не дурачок, а вовсе
шпион американский!.. «Вот беда!» —
старухи откликались где-то возле.
К калеке тоже чувствовал свои
претензии, примеривался рьяно...
Потом «вредители!» — сарай сожгли,
в котором задремал калека пьяный.
И он калеку вытащил. А сам
замешкался. Так соблюлись законы
совсем не те, из-за которых к нам
всё время приходили уличкомы.

ВСЁ ВРЕМЯ ПРИХОДИЛИ УЛИЧКОМЫ,
держались будто с нами не знакомы,
держали в сердце подпись и печать.
Всё время разъясненья проводили
и личную корову уводили
или конёк велели с крыши снять.
Всё время приходили землемеры
и участковые милиционеры.
Всё время что-то мерили на глаз.
А глаз хитро прищуривался, цепко:
не выросла ли в огороде репка,
превысив государственный указ.
Тут в космос запустили человека.
Начало эры в середине века
произошло. Теперь мы всё могли!
Нам подчинялись физики законы.
На улицах смеялись уличкомы
и землемеры, жители Земли!
(Но до сих пор оттуда мне слышны
их вздохи: «Лишь бы не было войны!»)

И ЗЕМЛЕМЕРЫ — ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ,
и дурачки, калеки и старухи…
Зачем, доброжелатели мои,
вы сами или слепы, или глухи?
Как не умеем мы узнать в других
себя самих! Или, помимо тела,
себя не знаем? До себя самих
как мало дела нам, как мало дела!
...Когда ещё он имя знал своё
и у начальника служил шофёром

в секретном учреждении, в котором
у служащих сознаньем бытиё
определяется, Биби любил
детей. Во время ожиданий долгих
на ЗИМах, на «Победах» и на «Волгах»
катал их с ветерком и счастлив был.
(Наверно, и меня он брал тогда.)
Ну а потом нагрянула беда,
когда он — с ветерком — возил кататься
начальника с зазнобой… Задавил
ребёнка… На клаксон давил, давил —
би-би!.. Но лик сиятельного старца
из облаков не выглянул и тут.
...Биби! Биби! Тебя играть зовут:
— Биби! — детишки с улицы... Би-би...
Как бесконечны оклики любви...

КАК КРАТКИ ОТКЛИКИ СУДЬБЫ!
Как кротки!
И как слабы:
— Алло! Алло! — гудок короткий.
Но только отгудели — всё тотчас
переменилось. Годы, как солдаты,
идут на нас.
А мы ни в чём не виноваты? —
как виноваты не были ни в чём
калека тот, Пожарник, уличком...
Звени, звени на всех парадах, медь!
Гуди, гуди над каждою могилой.
Да как же их винить, когда жалеть
и то порою не собраться с силой?
Да как их не судить, когда они —
впрямь наши родственнички дорогие,
что быстро отгостили... Отгостили.
Что ж быстро отгостили?! Мы одни
их не забудем. Нас, дай бог — другие.

СТИХ НЕ ЗАБУДЕМ — НАС, ДАЙ БОГ, ДРУГИЕ
накроют с головою времена.
А смыслы улетят, как семена, —
во времена уже совсем другие.
Степной кочевник в землю втопчет их.
На триста лет поздней родится Пушкин.
Мой брат, гуляя дачною опушкой,
отыщет в Слове первородный стих.

Отыщет в Слове первородный стих
мой брат, гуляя дачною опушкой...
На триста лет поздней родится Пушкин.
Степной кочевник в землю втопчет их.
Стих не забудем?.. Но, прекрасный брат мой,
с годами забываешься ты сам,
немым каким-то внемлешь голосам,
не дремлешь над работой безотрадной...
Ах, на Руси не сыщешь городка,
где перечитанным не начиняют
хорей! Уже и хором начинают!
(Она и не прочтёт наверняка...)
И тот герой, которого впустил
всё тот же Пушкин в русскую словесность,
под Той Горой засиживает кресла-с —
с пером в руке и склянкою чернил.

ПЕРОМ В РУКЕ И СКЛЯНКОЮ ЧЕРНИЛ
я этот мир к бумаге прицепил,
но ничего не изменил, как прежде.
Не понял даже, что такое Я.
Кто я? Бытописатель бытия
или пижон в простроченной одежде?
Иль этот сумасшедший городской,
свое би-би бубнящий день-деньской?
Или калека, врущий что попало?
Или Пожарник, жаждущий тушить
любой пожар — чтоб славу заслужить?
Иль просто землемер земного шара?
Как будто все они — и есть я сам.
Мой голос подчинён их голосам,
мои слова — их чувствам бессловесным.
И если уж не я, то кто тогда
им крикнет вслед, что горе не беда, —
с каким-то умиленьем неуместным.
Я вскормлен ими был и вспоен был.
Отвергнут ими был, что их любил
не просто так — взаимности во имя.
Немыми был приучен говорить,
глухими — звуки чудные ловить,
присмотрен был старухами слепыми.

Комментарий

Кубик Рубика был самой популярной головоломкой начала восьмидесятых, когда эта поэма писалась. Автору захотелось так же, как головоломку, цвет в цвет сложить судьбы людей, которых время и обстоятельства свели в одном кубике двора. Но для этого ему понадобились не только персонажи собственного детства и ранней юности, но и герои рассказов его рано ушедшего друга Анатолия Берладина, замечательного театрального режиссёра-экспериментатора, создавшего когда-то в Тольятти экс-театр (и «бывший» — по «достаниславским» законам, и экспериментальный).

Об этом театре автору подробнее и горячей горячего Берладина (глазища горели, густые чёрные с сединой волосы развевались) рассказывал Ролан Быков. С ним автор познакомился в Москве, в компании Юрия Щекочихина, который напечатал его (автора) первые стихи в легендарном «Алом парусе» «Комсомолки» — во второй раз с предисловием Бориса Слуцкого.

Отношения с Быковым сложились так, что автора однажды осенило позвонить Ролану Антоновичу и пригласить того в родной (для автора) Ижевск на выступления. Быков согласился. Автор уговорил местный обком комсомола (!) оплатить — впрочем, весьма скромно — приезд в город великого актёра и режиссёра.

А после выступлений Ролан Антонович пришёл на квартиру автора, чтобы отметить завершение гастролей и познакомиться с ижевской творческой молодежью в лице её лучших представителей — в том числе снова встретиться с Толей Берладиным, который тогда играл в Русском драмтеатре им. Короленко. (На автора тогда очень обиделся — и справедливо! — отец, что его не познакомили с любимым актёром).

Пивший в то время из крепких напитков только квас с хреном, Ролан Антоныч весь вечер и половину ночи травил байки. Все восторженно слушали. А в три утра встал вопрос доставки великого актёра в гостиницу.

Машин ни у кого из компании тогда не было и быть не могло. Автор стал вызывать такси. Когда он, дозвонившись, довольный, положил трубку, повисла пауза, все на него удивлённо смотрели. Наконец кто-то объяснил: «Ты сказал, куда ехать, а откуда — не удосужился!» Автор бросился снова набирать номер такси — занято, занято…

Вдруг раздался звонок в дверь — на пороге стоял очень вежливый таксист…

При чём тут «Кубик Рубика»? Ну, во-первых, он про то самое время, когда Сталина уже не было, но «всё время приходили уличкомы», лозунг «Болтун — находка для шпиона!» оставался одним из самых главных, а слово из трёх букв КГБ мелькало в разговорах чаще, чем другое популярное слово из трёх букв. А во-вторых, рассказанные в те вечер-ночь Быковым истории из его харьковского детства тоже, как и берладинские, несомненно, повлияли на автора во время сложения «Кубика Рубика».

Но вот «уже написан Вертер». Надо публиковать. Редактор местной молодёжки поэт Герасим Иванцов придумал под это дело литературное приложение к газете и в первый же его номер поставил «Кубик…».

Это была большая ошибка. Цензура не только сняла поэму с гениальными выводами на полях: «Аллегория какая-то», «Пародия на советский образ жизни», — но и запретила всё приложение.

Однако «Кубик» был уже свёрстан и частично напечатан. Выяснилось, что он понравился тогдашнему ответсеку молодёжки и тот, изъяв из типографии имевшиеся оттиски, распространил их по Ижевску. А это — страшное дело — самиздат!

Собрали по этому поводу бюро обкома партии. Автора на него не вызвали, достоверно зная от стукачей, что он к распространению своего произведения отношения не имел. Ответсека (звали его Владимир Скворцов) выгнали из газеты. Литературное приложение окончательно и, как выяснилось потом, навсегда закрыли.

А позже автор уже в Москве, в ЦДЛ, отдал рукопись поэмы Евгению Евтушенко, с которым был в то время едва знаком. Ну, чтоб узнать его мнение. На следующий день раздался звонок от Евгения Александровича. Он не только сказал хорошие слова про это произведение, но и, оказывается, уже написал к нему предисловие. С которым, был уверен, «Кубик» с радостью опубликует любой литературный журнал. Прежде всего советовал отдать в «Юность».

Но это были не шестидесятые годы — а 1982-й, потом 1983-й. И ни один журнал не решился на публикацию, несмотря на предисловие знаменитого поэта.

Зато Евтушенко, войдя в положение молодого автора, на которого в родном городе начальники и боязливые

Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно
в интернет-магазине
«Электронный универс»
e-Univers.ru